



Лиор Хейл
Рассказы

18+

Лиор Хейл

Рассказы

<https://litres.ru/74132234>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сборник рассказов Лиора Хейла — это не просто тексты. Это окна в тишину. В них живут люди, которые не умеют говорить о главном, но чувствуют его кожей.

Здесь живут мальчик, согревающий кокон своим дыханием, и женщина, которая возвращается к тому, кто её ударил. Женщина, которая пишет правду под дождём, и девочка, бегущая по полю, потому что поле — это свобода. Мужчина, который чинит не время, а жизнь и ждёт её шагов, и мальчик, чьё имя — Скандинавское Божество, — который не умеет улыбаться, но умеет чувствовать мир каждой клеткой.

Здесь нет громких событий. Есть — дыхание. Здесь нет героев. Есть — люди, которые пытаются остаться собой, даже когда мир говорит им, что они не имеют на это права.

Это рассказы о тишине. О той тишине, которая говорит громче слов. О боли, которая не становится слабее, но становится частью тебя. И о любви — той, что не кричит, но остаётся. Даже когда ничего не остаётся.

Для тех, кто не боится слушать.

Лиор Хейл

Рассказы

Лиор Хейл

Рассказы

"Тучи на горизонте"

Она сидела на крыльце, укутавшись в теплый серый свитер — его, будто облаченная в его запах кожи, его дыхание, его тепло. От этого было еще больше. Будто запахи и тепло исходили из далекого прошлого, в которое не было больше пути назад.

Резкие порывы ветра ворошили ее светлые пряди. Болонка, сидящая у нее в ногах тихо поскуливала, испуганно поглядывая куда-то вдаль, за горизонт, откуда порывистые рывки ветра гнали клочья черных, рваных туч, постепенно заволакивающих все небо. Желтоватая шерсть болонки волновалась барашками, будто рябь, покрывающая взволнованное, пепельное море. Собака перевела свой тревожный взгляд на хозяйку. Та улыбнулась — печально, будто самой хотелось завывать от болезненности в душе, на сердце, в мыслях.

"Ну, глупышка, не бойся, — это всего лишь тучи... " — сказала она, склонившись над чистым, белоснежным листом бумаги с карандашом в руке, — "всего лишь тучи", — повторила шепотом она, будто уговаривая себя решиться на ка-

кой-то важный шаг.

Болонка, будто понимая хозяйку, забилась под витый диванчик, усыпанный россыпью мелких цветных думок, будто полевых цветов.

"Однажды, ты любил меня иначе..." — начала она писать и, встревоженно, подняла голову к горизонту, где мелкие, но густые молнии рассекали небо на геометрические фигуры.

Каждая молния сопровождалась далекими, глухими раскатами грома, несущими на своих гигантских плечах слезы и холод. Она не уходила, прислушиваясь к стонам дощатого пола, к тихому скрипу старенького крыльца, пережившего не одну бурю, к бешеному биению собственного сердца, будто молоточками отдающегося в висках. Холод помогал ей не расплакаться, не уйти в бесконечные миражи мечт о нем: теперь бесконечно далеко, почти призрачном.

Тихий росчерк карандаша.

Строка перечекнута.

"Любил ли ты меня когда-нибудь?..." — застыл вновь карандаш в руке. *"А что если 'нет'? Ответит... знаю... а так еще больнее... больнее ожидание на вопрос, который не нуждается в ответе, потому что очевиден"*.

Раскат грома отразился в недрах ее оледенелой груди, она вздохнула судорожно: с болью, с сипом, с раной. Болонка неуверенно, жалобно подхватила ее стон и взглянула в глаза хозяйки, будто спрашивая: *"опять плачешь? если даже не он, но я ведь — рядом"*. Она, будто понимая, ласково косну-

ласть ладонью теплой мордочки. Шершавый язык лизнул ее заиндевелые пальцы.

Тучи медленно спускались из-за холмов, стелились по полю, приближались к ветхому домику. Музыка ветра раскачивалась от дерзких набегов вихря, будто предвестник бури — внутренней, ее. Ветер стал жестче, хлестче. Он тревожно перебирал звон колокольчиков, будто выбирая музыку, под которую будет плясать под дождем. Первые крупные, круглые капли начали тяжело падать на дощатый пол. Болонка забилась под диванчик, спрятав бархатный, влажный нос в хвост.

Она закрыла руками лицо. Не то слезы, не то капли дождя медленно потекли по ее щекам. Шквал разрушительного ветра ударил в лицо, будто пощечиной. Отрезвил. Обдал сивером. Насильно, почти жестоко, заставил очнуться после долгой, счастливой полудремы.

"Не любит... не любил" — пробежала самая больная, самая страшная мысль в ее голове, которая всегда вертелась на языке, но она боялась даже думать о ней, не то что произнести вслух.

Но теперь... Нечего было терять. Не за что цепляться. Все: мираж, забвение, обман! А если так — пусть уж больно от правды, чем больно и горько от приторного самообмана.

Росчерк карандаша.

Третья фраза. Та самая! Единственная! Правдивая!

"Ты не любил меня... никогда..."

Небо разразилось криком ее души — громом, от которого, казалось, вздрогнула вся земля и задрожал каждый угол, каждая оконная рама дома. Не дом — ее обитель сердца. Молния перечекнула все мечты, ожидания, надежды, будто поставила подпись под последней фразой на бумаге своей костлявой неоновой рукой. Дождь стеной прикрыл ее слезы.

“Кокон”

«Она живая?» — шепнул встревоженно мальчик, сняв варежку и коснувшись кончиком пальца крошечного кокона, спрятавшегося под корой и прелыми листьями, припорошенными мягкой, липкой крошкой снега.

Кокон лежал недвижно, словно выточенный из красного дерева и отмеченный редкими, почти ювелирными мазками белёсых кружков. Он укутался с головой в собственные крылья, как в пёстрые зимние пледы, спасаясь от стужи и метелей. Но под этой неподвижностью ещё теплилась жизнь — тихая, хрупкая искорка.

Мужчина ласково провёл ладонью по щеке сына, который переводил взгляд с кокона, согретого его маленькой ладонью, на отца. В зелёных глазах мальчика застыл вопрос, тревожащий детскую душу, — и он снова посмотрел на крошечный комочек жизни.

«Это павлиний глаз, Тобиас», — мягко произнёс мужчина.

Мальчик наклонился ближе. Выдохнул. Его дыхание бе-

лым облачком опустилось на кокон, словно благословение.

«Только не погибай...» — прошептал он, будто молясь перед маленькой святыней. Он прижал кокон к груди, завернул в свой шарф, словно в собственное тепло.

Отец улыбнулся, поцеловал пахнущую ромашкой макушку — запах весны, дерзко пробивающийся сквозь власть зимы.

«Она не погибла, милый. Она уснула... впала в анабиоз. Но с первой каплей — проснётся, расправит крылья и полетит в новую жизнь».

Голос отца был плавным, тихим, умиротворяющим. Сын благодарно взглянул ему в глаза — так, будто обнял душу одним только взглядом. На губах его появилась тёплая, торжественная улыбка.

«В новую жизнь...» — произнёс Тобиас одними губами, и на их краешках застыла не отцовская фраза, а детская мечта.

Он ещё раз осторожно прижал кокон к груди, расчистил прелые листья у старого пня под трухлявым корневищем и, положив в образовавшуюся ложбинку свою варежку — будто память, будто обет, — аккуратно опустил туда насекомое, прикрыв его лёгкими кусочками коры.

«Спи, моя бабочка... А с первой каплей прилетишь навестить меня».

—

Зазвенела, заискрилась на бледном, обманчивом солнце капель. Лесные дорожки заструились ручьями, наполнились

запахом тёплой земли — все тропы, все бугорки, все овражки. Несмелым ковром — то тут, то там, будто проплешины в вихрах зимы — повскакивали первые солдатики-подснежники: нежно-сиреневые, кремово-розовые, девственно-белые.

Воздух по утрам ещё был морозным, тяжёлым, почти видимым. Он расставлял паутины туманов меж елями, над полянами, под старым пнём — будто охотился на первые, слабые попытки жизни воскресить своих детей после долгого сна. Но стоило солнцу рассечь туман, стоило заре подняться над лесом — мороз отступал на полшага. Мирился. Подставлял щёки свету. Не улыбался, но уступал — чтобы к закату вернуться вновь, когда ночь брала его за руку, как непослушное дитя, и вела домой, в его обитель — в лес.

Зима ещё боролась, метала по ночам ворохи снега в румяные щеки весны, выла в дымоходах от злобы, била морозами по всему зарождающемуся. Весна хохотала — дерзко, молодо, наивно, но уверенно. Она знала: под старым пнём уже пробудилась одна жизнь.

—

Эта жизнь просыпалась медленно.

Ей снились разноцветные сны — странные, добрые, тёплые, будто кто-то был рядом, спас от морозов, даже поцеловал.

Из-под крыльев сначала показался длинный, хрупкий хоботок — словно существо хотело сделать первый глоток воз-

духа, прежде чем выбраться из цветастых покрывал. Потом появилась чёрная головка с большими глазами. Глаза — не глаза — калейдоскопы: тысячи мельчайших зеркал, мозаичных линз, полихромных кристаллов, в которых отражалась вся вселенная лесного естества. Они деловито оглядели кору пня, подснежники, тянущиеся к зениту, где распластался круг огненного солнца, и... варежку — тёплую, ворсистую, что спасала их всю зиму.

«Кто же это был? Кто спас меня в стужу?» — подумалось комочку.

Хоботок потянулся к ласковым, ещё прохладным лучам. На свет вышла мохнатая чёрная грудка, будто облачённая в меховое манто. Лапки расправились, уверенно встали на тёплый ворс варежки.

«Помню... Тобиас. Так звали моего спасителя».

Тельце вздрогнуло, крылья дрогнули и начали расправляться.

Ещё минуту назад сжатые, как помятая блестящая фольга от подарка, они выпрямились — стали яркими, гладкими, глянцевыми. Багровые, массивные, с блестящей пыльцой, невесомые — они дрожали от каждого хрустального порыва весеннего ветра.

И бабочке не было холодно.

Напротив — приятно. Даже весело.

«В новую жизнь...» — будто вспомнилось ей сказанное кем-то однажды.

И от этой мысли стало тепло. Тепло разлилось по всему существу. Крылья — огромные, искрящиеся, расписные, крапчатые в кругляшок — расправились полностью. Перед миром предстала бабочка-зимовка: живая, дышащая, молодая, уже любящая этот мир — и его. Её спасителя. Тобиаса.

«А что теперь? Куда мне?» — подумалось бабочке.

Она сделала первые шаги по влажной коре, забралась по стенкам трухлявого пня на спил. Замерла, вдыхая полной грудью жизнь. Хоботок вытянулся, жадно ловя весенний воздух. Мех на грудке мерцал многокрасочным бисером — дрожал каждой ворсинкой от дуновений ветра.

«Спи, моя бабочка! А с первой капелью прилетишь навещать меня!» — вдруг вспомнилось ей.

Странное, кипучее ликование переполнило её тельце. Лапки подёрнулись. Крылья налились силой, молодостью, блеснули огнём, переливаясь в преломлённых лучах. Бабочка взмахнула ими — ещё, ещё... Лапки оторвались от спила, ощутили под собой воздух, который крылья разрезали широкими, уверенными пластами.

«Ввысь... ещё... в новую жизнь... к нему — моему спасителю!»

“Лошадь и Жеребенок”

Ранним утром, когда над полями еще стелился бледный, сумеречный туман, будто белое одеяло, наспех накинутое поверх дремлющей земли.

Когда заря лениво окидывала спящие луга, на которых каракулевыми казачьими шапками стояли взбитые в стога ворохи свежескошенной травы. Когда по деревне пронесся хриплый оклик петуха-ворчуна, пожилого, потерявшего почти все перья на хвосте в былых боях, с перекошенным клювом и длинными розоватыми лапами, будто облаченными в алые сапоги с высокими сморщенными генеральскими голенищами.

Когда где-то далеко, в стеклянном тумане, корова, белая в черных пятнах, неохотно промычала в такт громоздкому железному колокольцу на ее шее, ведомая пастухом к пастбищу, что ступала лениво, размеренно, задевая ногами свое пустое вымя.

Когда утренняя, кристальная роса жемчужинами свисала с узких ободков листьев и светилась в первых лучах солнца в сердцевинах раскрывающихся колокольчиков, васильков, пижмы и барвинок.

Когда сонные черные мухи ворвались в прохладный воздух со своим назойливым, наглым жужжанием, а с ними, будто главнокомандующий, пролетел жук-рогач, рассекая туман своими массивными крыльями.

Тогда, в этом чудном утре, в этом просыпающемся естестве природы, на свет появлялась жизнь.

Медленно.

Тревожно.

Радостно.

Конюх еще вчера заметил набухшие соски молодой первожеребой кобылки. Понял. Его сердце наполнилось теплой и приятным, почти торжественным ожиданием рождения нового чуда.

Кобылка била копытом в стойле. Вздыхала взволнованно. Ее широкие, бархатные ноздри вздымались, расширялись, выталкивали теплый воздух, что выходил паром и подымался к дощатой крыше. Напротив, другая лошадь, рябая, старая кляча, тревожно и удивленно вытягивала шею, пытаясь хоть одним глазком заглянуть в соседнее стойло, посочувствовать, согреть, быть рядом. Кляча в такт молодой ударила копытом и шумно вздохнула, будто обращая на себя внимание соседки:

«я — тут. Я знаю, каково это. Не бойся, лапушка. Разродисься и ты».

Кобылка, с шелковой шерстью теплого миндального оттенка, с мелкой белой крапинкой на переносице, длинноногая, бойкая, беспокойно взглянула на клячу. В ее темных влажных глазах с длинными ресницами промелькнуло понимание и боль одновременно. Боль физическая. Сердце ее билось беспокойно. Круп животного, у боков, подергивался, будто от мелких и частых разрядов тока. Лошадь прошла кругом стойла, задевая мордой грубо выструганные доски загона, ткнулась ноздрями в проем между дверью и стеной. Вдохнула. Фыркнула. Склонилась над скирдой — не притронулась. Ударила копытом о поильник. Вода расплес-

калась. Не стала пить — отвернулась встревоженно. Навострила уши, будто прислушиваясь не к шуму извне, а внутрь себя. Обошла еще раз стойло. Брыкнула. Издала тихий, мягкий звук, не расцепляя зубов, будто мыкнула, и опустилась на пол, укладываясь на бок и выпячивая большой, круглый живот.

Жизнь толкалась, пиналась. От каждого толчка весь круп животного вздрагивал. Черные глаза животного увлажнились, блестели еще ярче; ноздри раздувались и выталкивали теплые сгустки пара все чаще. Кобылка вновь гугукнула. Пожилая кляча ответила. Прислонилась головой к стене, прислушалась. Ее дыхание будто замерло, будто она сама готовилась к родам, молилась за молоденькую кобылку, как мать за свою дочь.

Конюх пришел с керосиновой лампой. Чиркнул спичкой в глухой тишине. Зажег. Поставил на пол поодаль от стойла. Тихонько, чтобы не спугнуть роженицу, приоткрыл дверь. Лошадь не повернулась. Лишь острые, длинные уши животного уловили кроткий скрип калитки. Мужчина, в жестких перчатках, льняной жилетке и резиновых высоких сапогах, опустился перед лошадю на колени. Ласково потрогал ее круп: живот, бока. Снял перчатки, чтобы животное ощутило теплоту его рук. Нежно заглянул в глаза, погладил по холке, провел ладонью по морде. Проверил — не горячи ли копыта? Не болеет ли лошадь? Приобнял аккуратно, слегка. Та посмотрела на хозяина усталыми, вымотанными глазами,

в которых застыла тревога и бесконечная преданность, доверие и любовь к человеку.

«Лапонька моя. Скоро разродишься, милая. К обеду придет доктор. Я буду рядом, Рябинушка моя. Моя резвая, моя гибкая! Красавица моя!»

Мужчина поглаживал длинную, теплую, мягкую шею животного и шептал на ухо ласково, покойно. Рябина, будто понимая каждое слово, схватывая его, пропуская через свое огромное сердце, вздыхала ровно — успокаивалась, верила.

А потом вновь вытянулась вся, будто в конвульсии, задрала хвост, повернув его слегка набок. Бока потеплели и покрылись крупными каплями пота. Живот отяжелел, разбух. Она нервно мотнула головой к хвосту, будто ощутила прилив боли, толчок изнутри. На концах сосков застыли крохотные сияющие капельки молозива.

Вот оно.

Началось.

Старая кляча тоже почувствовала. Забеспокоилась. Заржала. Поняла.

Сначала появились голова и передние копытца. Затем длинное, вытянутое тельце позвоночником к позвоночнику матери. Новая жизнь рождалась медленно, в боли и радости. Затем задние конечности выскользнули из лона матери вместе с последом.

Конюх улыбнулся — широко, счастливо. В уголках его глаз, в ложбинках морщин, появились слезы радости.

«Лапушка моя! Умница моя! Какого скакунка славного народила!»

Жеребчик лежал на боку, конюх помог выпрастывать детеныша от последа, а после побежал за врачом.

Тот дышал порывисто, всей грудью и брюшком, не открывая рта. Влажный, темно-коричневый, с взъерошенной мокрой шерстью, чубатый. Мать заботливо гугукнула — позвала. Склонилась над своим дитя. Лизнула, мол:

«поднимайся, стригунок мой! Вставай на ножки, сынок».

И жеребенок, словно отзываясь, послушно начал пробовать подняться.

Первая попытка — поскользнулся, задние копыта разъехались в разные стороны. Он не удержался и повалился на бок.

Вторая — поднялся передом, зад присел. Смешной хвостик — короткая метелка дрогнул. Мать ласково подставила морду под его брюшко.

«Давай, сынок, ну же!»

Третья — на дрожащих копытах, полусогнутых ногах, трясясь всем телом от напряжения, от старания, от желания прикоснуться к теплому боку матери, вкусить ее молока, быть рядышком.

Еще один рывок, последний — и стригунок стоит: неуверенно, неловко, неуклюже, но стоит. Теперь самое сложное — первый шагок. К матери. Его черные глаза с длинными кисточками — ресницами глядят на мир испуганно и ра-

достно одновременно. Ликование от бытия невидимой нитью связывает его с матерью, передается ей, течет по всему ее телу. Молоко сочится из отверстий сосков. Жеребчик вдыхает материнский воздух, широко раздвигая ноздри. Мать облизывает его. Тихо гугукает — общается, будто колыбельную поет.

Она счастлива.

Старая кляча бьет копытом о землю, взбивая клочья сена под собой, поднимая пыль. Радуетя, как за само себя. Жеребенок делает неуверенный шаг, потом еще и еще и... касается сначала кончиком носа, затем ворсистыми, влажными губами материнского вымени. Оно теплое. Пахнет молоком и родным: мамой. Малыш вытягивает шею, тянется губами к набухшему соску и впервые пробует жизнь, материнскую ласку, любовь, добро и заботу на вкус. Причмокивает. Пьет.

Глаза Рябины глубоки, черны, будто мгла, влажны. Они сияют при приглушенном свете керосиновой лампы. В ее глазах все, что бывает в глазах матери, впервые увидевшей своего ребенка.

“Кукла”

Ночь.

Парк.

Фонари горят жёлтым, но свет не достаёт до земли — он падает на ветки, на стволы, на скамейки, покрытые инеем. Аллея тянется в темноту, как чёрная река.

Они идут. Она — чуть позади. Он — не оглядывается.

Она сказала. Ошибка. Слово, которое не стоило произносить.

«Отвези меня к гинекологу».

Тихо, робко, боясь.

Он останавливается. Резко. Она чуть не врежется в его спину. Он хватает её за запястье — пальцы ледяные, жёсткие, сжимают кости. Она не дёргается. Она знает.

— Я тебе, сука, не таксист. Не гинеколог. Я сейчас покажу, напомню, кто я.

Она плачет. Тихо. Слезы текут по щекам, замерзают на ветру. Она не вытирает. Кивает.

— Прости...

Он тянет её в кусты. Ветки хлещут по лицу, цепляются за волосы. Она не сопротивляется. Спускается следом в темноту. Земля сырая, пахнет прелыми листьями, холодом, смертью.

Первый удар — в лицо. Короткий, резкий, без замаха. Голова откидывается назад, шея хрустит. Она не падает — держится на ногах. Ещё удар. В плечо. Она оседает, хватается ртом за воздух. Стонет — тихо, надрывно.

Он бьёт ногой — в живот, в рёбра. Она падает, ударяется коленями о землю, потом грудью. Ладонями прикрывает лицо. Плачет.

Он садится на неё сверху. Кулаки приходится по ключицам — сухой, ломающий звук. По животу — она выгибается,

хрипит. По ногам — бёдра немеют, становятся чужими. По рёбрам — треск? Она не знает. Она только стонет, шепчет:

— Прости меня... прости...

Боль жжёт. Всё тело — как раскалённая сковорода. Каждый удар — новый ожог. Но сердце болит сильнее. Оно не перестаёт любить. Оно не просит пощады. Оно принимает. Знает — однажды он потушит ее свечу жизни. Но ей всё равно. Главное — чтобы его злость улеглась. Чтобы он затих.

Она сжимает пальцами землю. Влажную, чёрную, липкую. Слезы смешиваются с пылью — на щеках остаются разводы, как трещины на старой картине. Она не чувствует лица. Только боль и землю.

Ещё удар. В грудь. Из носа течёт кровь — тёплая, густая, падает на губы. Она слизывает её. Вкус железа, соли, отчаяния.

Он кричит:

— Ненавижу!

И замирает. Слишком громко. В парке тихо — только ветер в ветках. Могут услышать редкие прохожие. Он испуган? Она не знает. Она всхлипывает.

— Заткнись!

Удар в грудь — снова. Зубы в крови. Она сплёвывает — на землю, рядом с лицом.

Он поднимается. Отряхивает брюки. Поправляет куртку.

— Вставай.

Она поднимается. Медленно. Тело не слушается — каж-

дое движение — новая боль. Рука тянется к стволу дерева — кора холодная, шершавая, как наждак. Она опирается, выпрямляется. Не смотрит на него. Идёт к общественному туалету — освещённому тусклой лампочкой, с облупившейся краской, с трещиной на зеркале.

Промывает нос. Вода холодная, ледяная, смешивается с кровью — розовые ручейки текут в раковину. Промывает губы — разбитые, опухшие. Споласкивает лицо. Смотрит в зеркало.

Она — чужая. Разбитая. С красными глазами, с мокрыми щеками, с отпечатками пальцев на запястьях.

— Я тоже ненавижу... тебя... — говорит она своему отражению.

Не ему.

Себе.

Потому что он не слышит. Потому что он уже далеко. Потому что она остаётся. С этой ненавистью. С этой любовью. С этой болью, которая не проходит.

Вытирает лицо рукавом. Выходит. Он стоит у фонаря, курит. Не смотрит на неё.

— Пошли. — говорит. Не спрашивает. Не оборачивается.

Она идёт за ним. Механически. Безжизненно. Как тень. Как раздавленная ёлочная игрушка. Как кукла. Как та, кто уже умерла — но забыла лечь.

Ночь.

Парк.

Фонари горят жёлтым. Им не светят.

“Дачная Миниатюра”

Воспоминания — это то, что мы носим с собой всю жизнь, спрятанное в тихом кармане души. В них — наша правда: смешное возвращается лёгкой улыбкой, грустное — тяжёлым вздохом, жестокое стирается, как ненужные обрывки, а доброе, родное — остаётся. И именно то, что остаётся, и становится историей нашей жизни.

Помню: мне пять, мы едем в электричке. Окна распахнуты, опущены. Я высовываю язык, пытаюсь поймать, укусить тёплый ветер. Мама мягко отодвигает меня от окна: сквозняк, да и другим пассажирам тоже хочется поглядеть наружу; веди себя прилично, не показывай всему народу язык.

Я не сижу на мягких сиденьях, обитых вишнёвым, потёртым дермантином. Энергия выплескивается через край — невозможно усидеть на месте, будто на муравейнике, что кусает за мягкое место, щекочет ляжки усиками и лапками, тревожит мысли. Я стою между маминых ног, рядом с громоздкими мешками и вёдрами, набитыми дачным инвентарём, одеждой, продуктами и утварью — словно мы переезжаем в другой мир не на день, а навсегда: в сердце природы, деревенского морока, дачных пейзажей. Электричка мчится размеренно.

«*Ту-тух, ту-тух*» — бойко отзываются под колёсами

рельсы. Пассажиры улыбаются, спорят, жуют, дремлют под удары колёс. Они уже приготовились к рабочему дню в огородах: высокие резиновые сапоги, перевязанные платками головы, широкие спортивные штаны, жилетки — всё, что не жалко испортить, изорвать, перепачкать, лишь бы помочь саду расцвести, избавить грядки от душащих сорняков, высвободить корнеплоды от безжалостных паразитов.

Я говорю громко, хвастаюсь, задираюсь — выражаю перед мальчиком чуть постарше, сидящим напротив. Мама заметила. Улыбается. Ей немного неловко. За окнами проносятся степи, поля, окропленные одуванчиком и ромашкой, электрические столбы, перекошенные бетонные остановки с покосившимися козырьками, заросшие сорной травой платформы с растрескавшимся асфальтом.

Помню жалобный скрежет горячего металла массивных колёс. Открытые двери. Мы ходим. Опускаемся по узкой тропе гуськом — с ведрами, мешками, пакетами — будто исчезаем в низине меж тополей. В ложбинке, по обе стороны тропы, тянутся дачные участки, огороженные деревянной, неровной каймой — сероватым частоколом.

Мы идём. Я — лечу.

Сегодня будет много свободы, много ничего-не-делания, соития с природой и побега в другие измерения. Дача для ребёнка — это плавное погружение в потаённые глубины детства.

Помню наш забор, калитку с проржавевшей щеколдой и

остановку «Жана аул». Я — в больших солнечных очках в коричневой, грубой оправе. Ношу их с удовольствием, не снимая даже в пасмурную погоду. Мама сказала, что мне идёт. Я в них похожа на стрекозу. Переодеваюсь быстро, словно солдатик — времени нет на возню, меня ждёт природа, другие миры.

Я бегу.

В голове моей проносятся воспоминания — будто яркий сноп искр, отлетающий при ударах молота по наковальне.

Помню у бревенчатой стены нашего деревенского домика куст крупной малины. Над маленькими белоснежными цветами-звёздочками постоянно роится чернявая мошкара и огромные, мохнатые, трёхцветные шмели. Лапки их в пыльце, что крохотными капельками сияет под палящим летним солнцем.

Помню эти ягоды: огромные, упругие. Возьмёшь такую — тает. Оторвёшь её с куста губами, положишь на язык и держишь, перекатываешь во рту, смакуешь, будто готовясь испить эту сладкую сердцевину, что зрела только для тебя.

Помню дом наш — деревянный, ветхий. Помню обрывками. И от этих воспоминаний становится тяжело дышать. Даже сердцу больно.

Будто слышу, как скрипят половицы под ногами. На окнах — грубо выструганные деревянные рамы, окрашенные светло-голубой краской, давно облупившейся; на них — незатейливые занавески, прикрученные к тонким проволокам.

Заходишь — кухня: светлая, уютная, словно прогретая теплотой родных рук, что кудесничают у плиты для нас — меня, сестры, отца и деда, которые работают на огородах: вспахивают, убирают траву, высаживают, копают, поливают, перетаскивают шланги от одной гряды к другой.

Проходишь — комната, просторная. На стене висит зеркало в потемневших от времени пятнах у уголков, с маленьким сколом. Оно, будто наклонившись немного к хозяевам, прислушивается к их думам, к усталым вздохам, к моим детским грёзам.

У стен — кровати, пружинистые койки. На них — взбитые ватные матрасы, громоздкие перьевые подушки, в которых можно плюхнуться и утонуть с головой, цветастые одеяла, сшитые будто наспех, вручную, жёсткими нитками. Они пахнут домом, пылью, скошенной травой — моим детством, когда всё ново, когда весело на сердце от мамы, что собирает тёмно-зелёные, хрустящие, душистые листья щавеля для супа и бойко переговаривается, почти спорит с папой где-то неподалёку, в огороде, пока он кропотливо обходит каждый куст картофеля в надежде поймать очередного бандита — колорадского жука, что прячется в междоузлиях.

От тихого пения бабушки, что жарит беляши на кухне в чугунной сковородке, где шкварчит и дымится подсолнечное масло. Её тёплые, немного дрожащие руки — кожа мягкая, тонкая, сквозь неё просвечивают мелкие синеватые вены; ладони будто вылеплены из теста: мягкие, уютные, испещрён-

ные паутинками судьбы. Они лепят, жарят, пекут, обнимают, гладят по голове, по плечам, по щекам, терпеливо учат меня таблице умножения.

Мне радостно от звонкого голоса сестры — хрупкой, зеленоглазой, что собирает в пластмассовый бочонок, умело вырезанный из бутылки, спелую чернооковую смородину.

Помню дорожки, проложенные отцом по всей даче — вдоль огорода, меж грядок. Выцветшие на солнце, посеребрившие, рассыпающиеся доски шатаются под ногами, особенно когда бежишь и представляешь, что по краям их — бездна, а тебе нужно пробраться вперёд, потому что там начинается самое интересное: деревья, калитка, дорога, ящерицы и саранча — жизнь во всех её проявлениях, и я — неотъемлемая часть её.

Помню: за калиткой — дорога и соседи, к которым мы ходили.

Помню смутно, будто во сне, будто и не было этого всего никогда. Но было. Сердце шепчет. Подсказывает. Я ему верю.

Помню ежа, которого мы спасли из-под сетки. Он лежал, свернувшись колючим клубком, пыхтел, угрожал. Мама вынесла ему молока на блюдце, старалась, почти бежала, чтобы успеть напоить бедолагу, чтобы не расплескать. А он, неблагодарный, высунул мордочку, обнюхал инородное тело — и, даже не притронувшись к лакомству, убежал, перебирая лапками по потемневшей, трухлявой дощатой тропе.

Помню: забиралась тайком от глаз всего мира в кусты, пробиралась взглядом сквозь корневища, искала крошечную жизнь. Воздух звенел, жужжал, стрекотал, наполнялся гулом и красками всего живого: бабочек, стрекоз, мух, божьих коровок, пчёл, долгоносиков, что торопились по своим делам — управиться вовремя, накормить, выносить, родить, оплодотворить, испить все нектары жизни до дна и уйти.

Помню: ловко хватала за хвостики стрекоз с веток крыжовника — всего в шипах, будто в саблях. Любовалась ими: как через сетку прозрачных радужных крыльев пробивалось жгучее солнце, как дрожали они от малейшего дуновения ветра, как в сотнях зеркал их глаз преломлялась моя беспечная улыбка.

Помню, как отец научил меня охотиться на ящериц: накрывать их ладонью бережно и постепенно выпрастывать узкую, прогретую на солнце головку с глазками-бусинками по бокам. Видеть, как у шеек их бьётся маленькая жизнь — боязливая, жаждущая свободы, застывшая, словно всё зависело от моих дум. И я отпускала. Ящерицы, чуть отдышавшись, скользили по бурой земле, убегали от страха, от смерти — к жизни.

Помню: выбежишь за калитку — а там сухая полынь, аромат её плывёт до самого неба. С ликующим воплем кидаюсь в самую гущу свежей зелёной травы у заборов, в лохматые, пожухлые колоски, что колют и щекочут икры. Мчишься вдоль заборов: ветер в ушах, солнце слепит глаза, а из-под

ног — целая армия длинноногих, изумрудных кузнечиков подпрыгивает до колен, цепляется лапками за шорты, шевелит усами. Серая саранча расправляет крылья и, будто пёстрый батальон бомбардировщиков — красных, жёлтых, голубых — летит прочь из-под стоп.

Я — за ними в прыжке, я с ними лечу. Я — часть этой природы, потому что хочу.

Помню огромный борщевик с широкими листьями и гигантскими стеблями. Я к верхушкам белых соцветий-зонтиков удивлённо задираю голову. Он пробился сквозь чернозём, задушил остальное и вымахал выше всех нас на несколько голов — навстречу влаге и солнцу. В этом заключена вся тайна природы: в её жажде благоденствовать — быть.

И я бегу, не боясь поскользнуться или упасть: я уже далеко отсюда — в самой гуще высокой травы, где всё шуршит, движется, живёт; прячусь среди стеблей, будто в зелёном лабиринте, и чувствую, как за мной следит кто-то быстрый, лёгкий, невидимый — ветер, что играет со мной в догонялки. Я смеюсь, мчусь, распластав руки, задевая ладонями упругие, жирные стебли сорняка.

Помню голос отца — густой, металлический, приятный, родной. Он высечен в моей памяти навсегда.

«Крестя!» — зовёт он меня.

И я бегу назад. Обнимаю. Люблю.

Я откликаюсь на целую палитру имён, и все они имеют свои голоса, свои интонации, свою страницу в моей памя-

ти: «Незабудка моя», «Кристофор Банифацыч», «Крестюня», «Крошка-енот»... Я ничего не забыла. Я всё берегу, как альбом с фотографиями — пожелтевшими, чёрно-белыми, где каждый маленький излом — целый прожитый день, каждое тёплое «мама» — мгновение, прожитое в нежно-успокоенном счастье.

Я не в Жана Ауле — я в своем сердце всё это храню!

“Скандинавское Божество”

И да... это обо мне.

Меня зовут Ларс. Имя необычное, соглашусь.

Мама, будучи ещё ребёнком, всё детство увлекалась скандинавской литературой: читала взахлёб мифологию, погружалась в мир легенд и преданий о викингах. Поэтому и дала мне это имя — имя сильного, храброго, увенчанного венками славы Скандинавского Божества. Когда она произносит его устало, с досадой, воздух вокруг становится плотным и холодным, будто в комнате открывается дверь в северный ветер. У меня в груди в этот момент что-то тихо щёлкает — как будто лёд трескается под солнцем. Когда ласково — её голос становится мягким, как шерсть моего старого пледа, а внутри у меня поднимается лёгкая дрожь — не страшная, а похожая на вибрацию струны.

Мне семь.

Я мог бы уже пойти в школу в этом году, но мама сказала, что не каждая школа готова принять Скандинавское Божество под своё крыло. Я не знаю почему, но верю маме.

Врачи советуют ей, что мне будет лучше в специализированной школе для таких же особенных божеств, каким являюсь и я. А пока мы ездим к докторам и ждём каждого приёма в больших очередях. Там пахнет железом, медицинскими халатами и чем-то горьким, что щиплет нос. Свет в коридоре всегда слишком белый, как снег под солнцем, и от него у меня начинают звенеть виски. Пальцы холодеют, а ладони становятся влажными, будто я держу в руках кусочек льда.

Моя история началась задолго до моего появления.

Мама рассказывала это подругам, а я всё слышал. Она думала, что я не понимаю, но я понял всё.

Она пыталась сделать аборт, потому что папа бросил нас, когда я был ещё маленьким зернышком в её утробе, а сама мама была совсем молоденькой девочкой, только что выпустившейся из школы.

Она много горевала: потому что не смогла вовремя поступить в университет, потому что не имела постоянного заработка, потому что все вокруг — соседи, знакомые, мой отец — настаивали на прекращении беременности. Пока она терзалась сомнениями, время ушло. Делать аборт было слишком больно для меня и слишком опасно для неё.

Я помню это не умом — телом. Иногда, когда мама рассказывает, у меня в животе будто сжимается тёплый узел, как от далёкого эха, которое проходит через меня и исчезает.

И так... на седьмом месяце беременности появился я.

Мама говорила, что я был весь розовый, как поросёнок, и хрупкий, как яичная скорлупка. Первые дни она боялась брать меня на руки. И не брала.

В госпитале я большую часть времени провёл в инкубационном ящике — прозрачном, тёплом, гудящем, как будто я лежал внутри стеклянной раковины. Свет там был мягкий, жёлтый, и от него у меня щекотало веки. Воздух пах стерильностью и чем-то сладковатым, от чего у меня всегда чуть кружилась голова. Я мало плакал. Но хорошо набирал вес.

Молочные смеси я не любил — выплёвывал их, выталкивал языком, давился. Они пахли железом и горечью, и от одного их запаха у меня холодели губы.

А вот мамино молоко стало моим самым любимым лакомством. Оно было тёплым, сладким, как утренний воздух, и когда я пил его, у меня по спине пробегали маленькие мурашки, будто кто-то гладил меня изнутри. Я пил его жадно. Много.

Когда нас выписали, я впервые оказался дома у бабушки и дедушки. Там я сделал свои первые шаги — от стула к деду. Там же впервые попробовал бабушкино пюре с котлетой. Впервые пошёл с дедой и бабой на День города посмотреть фейерверк. Они сразу полюбили меня. Особенно дедушка.

Он был инженером-электриком. Каждое воскресенье, пока бабушка убиралась по дому, готовила крохотные тефтельки с пюре «для моего маленького животика» и аппетитные фаршированные перцы; пока перестирывала кучи белья и развешивала его на балконе, дед перебирал свои транзисто-

ры и жизненно необходимые для починки электроники детали: болтики, гайки, шурупчики, шпильки. Он бережно упаковывал их, раскладывал по размеру, форме, модели и складывал в маленькие спичечные коробки.

Я садился рядом — молча — и рассматривал каждую деталь скрупулёзно, пристально, поднося её почти к самому кончику носа. Так я мог разглядеть любую маленькую зарубку, сосчитать резьбу, изучить форму, цвет, плотность. Мама с бабушкой замечали это и перешёптывались. Мама взволнованно подходила и одёргивала мою руку.

«Испортишь зрение, Ларсюша».

Её слова расстраивали меня. Расстраивало, что она одёргивала мою руку, когда я изучал деталь дедушкиного мира. Расстраивало, что моё зрение могло испортиться — треснуть, как глиняный горшок, оставленный на подоконнике под палящим солнцем. Расстраивало, что она называла меня «Ларсюша», будто я был не Скандинавским Божеством, а скандинавским клоуном — таким, что в ярком колпаке скачет по цирковой арене, размахивая руками, и смешит толпу, хотя сам не понимает, что смешного.

Чтобы выразить своё негодование, я начинал мотать головой, бил себя по лбу и, чтобы дать понять маме, что я — Ларс, а не скандинавский клоун, кусал себя за запястье, впиваясь зубами в мягкую кожу. Странно, но я не ощущал физической боли так, как другие. Душевная — заглушала её.

Бабушка бросалась ко мне, обнимала, целовала раненые запястья, лоб, виски.

Дедушка пытался отвлечь — находил причудливую детальку и ласково вкладывал её в мои ладони. Мама уходила к себе или запиралась в ванной и плакала. Это угнетало меня ещё сильнее.

Позже мама выходила из ванной. Глаза красные, нос распухший, но на лице — улыбка: нежная, добрая, мамина. Она обнимала меня, целовала тихонько в висок и шептала:

«Радость моя... моё счастье... мой смысл жизни».

А я радовался.

Замирал, глядел куда-то в пространство, боясь, что этот счастливый миг снова выскользнет из моих пальцев. Боялся, что мама вдруг скажет что-то другое — тёмное, тяжёлое, то, что она произносит, когда ей стыдно за меня или очень горько. И я заранее сжимался внутри, как будто готовился к удару.

«Ты — моё проклятие... мой тяжкий крест, который я не смогу сбросить до конца дней своих».

Когда она говорит так, её голос становится стальным. Он режет меня пополам — не тело, а то место внутри, где у других людей живёт спокойствие. У меня там живёт только дрожь.

И чтобы заглушить эту дрожь, я ударяюсь головой о стену, шатаюсь, как маятник, бьюсь и кусаю себя до крови. Это не злость. Это просьба. Это мой способ сказать: *«Мама, я слышу тебя. Я чувствую тебя. Я не хочу, чтобы тебе было больно».*

Если бы только люди понимали это.

Я бью себя не потому, что погода меняется. Я бью себя, потому что чувствую её грусть так, будто она проходит через моё тело. Когда дождь падает на землю — я будто падаю вместе с ним. Когда ветер воет в рамы — у меня внутри тоже воет. Когда метель укутывает деревья — я будто исчезаю под этим снегом.

Я страдаю вместе с ней. Плачу изнутри. Маюсь, будто заперт в собственном теле, как в склепе.

Когда у меня болит что-то, а я не могу назвать это словом, я пытаюсь показать. Если болят ноги — бью их кулаками, исцарапываю в кровь колени. Если голова — бьюсь о стену, хлещу себя по щекам. Если сердце — кусаю себя, чтобы хоть как-то объяснить.

Но мама не понимает. Она плачет, злится, хватается меня за руки, иногда связывает. И я не знаю, как сказать ей, что она не виновата. Что я просто так чувствую мир. Что я говорю не словами — а действиями.

«Прекрати, Ларс! Слышишь? Перестань! Хватит!» —

кричит она, заматывая мои запястья полотенцами, натягивая на руки старые гольфы, превращая их в мягкие перчатки.

Дедушка берёт меня на руки. Я выгибаюсь дугой, деревенею каждой клеткой, и из меня вырывается крик — чужой, пронзительный, скользкий. Я не хочу кричать. Я просто не знаю, как иначе сказать, что мне страшно.

Единственное, что успокаивает меня, — это огурцы. Длинные, хрустящие, зелёные, с упругими семенами, что лопаются на языке. Когда я их ем, мир становится тише. Я успокаиваюсь.

Но уснуть всё равно не могу. Слишком много эмоций. Слишком много того, что я не сказал. И слишком хочется огурцов.

«Ларс...» — шепчет мама ночью. В её голосе — сон, усталость и тонкая ниточка страха, что она снова не справится, снова не поймёт меня. — «Давай баюшки будем, сынок? Уже почти три ночи. Смотри, какая мягкая подушечка, как тут тепло под одеялком — я нагрела. Ммм... сейчас уснём рядышком, а, Ларс? Пойдём, а? Пожалуйста...»

Она говорит мягко, но я слышу, как дрожит её дыхание. Она хочет спать, хочет тишины, хочет хоть на минуту перестать быть сильной. Но остаётся рядом. Остаётся всегда.

Она зевает, и я слышу, как внутри неё что-то ломается — не от злости, а от бессилия. И всё равно она улыбается мне. Улыбается так, будто я — её единственный свет.

Я ем огурец, сидя на краешке кровати. Спыхватываюсь. Машу руками, будто бабочка. Семеню ножками, прыгаю.

Мама устало произносит:

«Да ты ж мой маленький воробушек...»

Когда она называет меня «воробушек», я чувствую, что она пытается удержать мир от распада. Её голос — как одеяло, которым она накрывает меня и себя одновременно.

Я не смотрю на неё.

Я никогда не смотрю людям в глаза. Боюсь увидеть в их глазах самого себя — или то, что они прячут внутри.

Но я слышу их по голосу. По его окраске, по дыханию между словами.

И сейчас я чувствую, что мама улыбается. Что любит меня.

Эмоции переполняют меня. Руки сами машут, будто крылья, и не могут остановиться.

Этой ночью я опять буду бодрствовать. И съем очень много огурцов.

Утром мама сонная, как будто её душа ещё не вернулась в тело. А бабушка входит — и воздух меняется. Он становится плотнее, теплее, пахнет мукой, молоком и чем-то надёжным.

Солнце пробивается сквозь тяжёлые тюли, и лучи ложатся на пол мягкими полосами. Пылинки в них не просто мерца-

ют — они танцуют, как крошечные живые существа. Я чувствую их на коже, будто они касаются меня кончиками крыльев.

Бабушка улыбается — и её улыбка тоже имеет температуру. Тёплую, как свежее тесто. У переносицы у неё морщинка-веточка — и я чувствую её не глазами, а сердцем. Эта морщинка пахнет праздником, пирогами, пирожками, пельменями, мантами. Пахнет тем, что мир сегодня будет добрым.

Когда она целует меня в плечо, её губы оставляют след — не влажный, а тёплый, как отпечаток солнца. Её ладонь — мягкая, сдобная, — касается меня, и внутри меня всё вспархивает, как стая маленьких птиц.

Я машу руками — не потому что не могу иначе, а потому что мир слишком большой, слишком яркий, слишком добрый в этот момент. И я взлетаю внутри себя, как травинка, которую подхватил ветер.

Мы завтракаем кашей. Дедушка шутит, дёргает меня за нос, щекочет за ухом.

У него тёплые пальцы — шершавые, пахнущие железом, паяльником и чем-то родным, надежным. Когда он касается меня, внутри всё становится ровнее, тише, будто кто-то погладил по нервам.

Я хотел бы улыбнуться, но не умею.

Зато внутри меня поднимается ветер — лёгкий, тёплый, как от распахнутого окна летом. Руки сами машут, будто у меня есть крылья, и я не могу их удержать.

Бабушка ахает:

«Господи, Ларс, они сейчас оторвутся у тебя!»

А дедушка смеётся — тихо, грудно, как будто у него внутри живёт маленький моторчик, который работает только для

меня.

И я машу до глухого щелчка в пальцах.

Это мой смех.

Моя улыбка.

Моя радость.

После мы идём за продуктами. Все втроём. Дедушка — слева, бабушка — справа. А я — между ними, как будто мир держит меня за две руки. И я чувствую это — не кожей, а глубже, где живёт тишина.

Но левая рука — особенная. Дедушкина. Она большая, тёплая, уверенная.

Когда он держит меня за ладонь, тревога отступает, как вода, уходящая с берега. Он не тянет меня — он просто идёт рядом, и этого достаточно, чтобы я чувствовал себя целым.

Я — их Скандинавское Божество.

Так они говорят.

А я просто иду. И чувствую землю под ногами.

Чтобы добраться до остановки, есть много дорог. Но мы идём по одной. Она — моя. Она не короткая, не длинная, не прямая, не извилистая. Она просто совпадает с моим дыханием.

Когда мы идём по другой, внутри меня всё ломается.

Не каприз.

Не истерика.

А будто меня разрывают на две половины: ноги стоят на чужой земле, а голова и сердце остались на моей тропинке.

Тревога растекается по мне липким сиропом. Мысли сбиваются, как птицы, которых испугнули. В животе комком застревают гнев, ярость, боль, смятение.

Я будто стою в комнате, полной глаз, которые смотрят на

меня, проникают в меня, ищут, что во мне не так.

И я не знаю, как объяснить, что дело — только в дороге.

В том, что она не моя.

Поэтому мама, дедушка и бабушка всегда идут со мной моей тропой.

Когда мы идём по моей тропинке, дедушка всегда делает вид, что это он сам выбрал путь.

«Так короче, внучок. И тень тут хорошая».

Но я знаю: он идёт так ради меня.

И я благодарен ему так сильно, что внутри меня всё дрожит — и я не могу удержать радость, свет.

Я не могу сказать ему это словами, но он понимает по моим крыльям-рукам.

Он всегда понимает.

На остановке бабушка встречает соседку. Они говорят, кивают, понимают друг друга. А дедушка стоит рядом — как столб света. Не вмешивается, не торопит, не раздражается. Он просто есть. И его «есть» — это спокойствие.

А я смотрю на ноги соседки: толстые гольфы-лапша, ортопедические ботинки. Наверно, у неё болят ноги. Наверно, она растирает их ромашковой настойкой, как бабушка. Я чувствую это — не знаю как, просто чувствую.

Я опускаюсь на корточки. В трещине на асфальте вижу ножки... сто... тысяча... Тысяченожка свернулась клубком и спит, подрагивая нитиевидными ножками. Рядом — другая. Поодаль — ещё одна. Целая семья.

И мне тепло. Так тепло, что хочется летать. Мычать от удовольствия.

Потому что жизнь есть везде — даже в трещине, по которой каждый день проходят сотни людей, не замечая её.

Я кладу ладони на асфальт. Он тёплый. Он дышит. И я дышу вместе с ним.

А дедушка смотрит на меня. Не прямо — боковым зрением, как будто охраняет, но не давит. Он всегда так делает. Он рядом, но не вторгается.

Грохот. Скрежет. Он приближается.

Земля дрожит у моих сандалий.

Это грохочет трамвай.

И дедушка первым чувствует, что я могу испугаться. Он берёт меня за ладонь — уверенно, но ласково. Его рука — как якорь, как корень дерева, который держит землю.

«Внучок, пойдём. Наш трамвайка пришёл. Гляди, какой! Большой, железный, красный, как великан!»

Он говорит так, будто открывает мне мир. И я верю ему. Потому что он никогда не врёт. Потому что его голос — как трамвайное бормотание: ровный, ритмичный, надёжный.

Я мычу.

Скачу.

Радость вырывается из меня, как птица.

Бабушка с дедушкой подхватывают меня под мышки, ставят на ступеньку.

Мы садимся на мягкие сидения. Едем на базар за мукой и мясом.

В трамвае он садится рядом, чуть разворачиваясь ко мне плечом — чтобы я чувствовал его тепло. Он не спрашивает, не объясняет, не учит. Он просто сидит. И этого достаточно, чтобы мир не распался.

Трамвай горячий, раскалённый солнцем. Он трясётся, будто простыл за ночь и теперь чихает на каждом шагу. Мне

кажется, он — живой. Я чувствую это кожей. Каждой клеткой.

Я наклоняюсь к сиденью напротив. Коричневая кожа жёсткая, плотная. Кончик моего носа касается её. Я вижу поры. Они дышат. Поры раскрываются, как маленькие рты.

В уголке металлических креплений — сеточка морщинок. Трамвай улыбается мне. Подмигивает.

Я слышу его бормотание — тихое, ритмичное, как сердце.

«Я тут... ту-тут... не подведу... ду-ду... тебя веду... ду-ду... в сторону ту... ту-ту...»

И я верю ему. Потому что он говорит правду. Потому что я слышу её — не ушами, а всем собой.

Когда я наклоняюсь к сиденью, чтобы слушать его дыхание, дедушка не смеётся. Не одёргивает. Не говорит «нельзя». Он только чуть-чуть наклоняет голову, будто тоже пы-

тается услышать, что говорит трамвай.

И я знаю: если бы трамвай действительно заговорил вслух, дедушка бы не удивился. Он бы сказал: *«Ну вот, внучок, я же говорил — всё живое»*.

Моё сердце бьётся в висках, стучит в груди, пульсирует в шее — от любви к миру, ко всему живому и неживому: к людям, к насекомым, к трамваю.

Я провожу ладонью по горячей металлической раме окна, будто глажу его, благодарю. Он отвечает мне тихим звоном — я слышу это кожей.

На базаре мы покупаем мясо. Дедушка долго и внимательно осматривает каждый лоток — его глаза щурятся, как у человека, который знает цену каждому волокну. Он спрашивает деловито, уверенно, спорит, торгуется — но без злости, с уважением, будто ведёт разговор не о мясе, а о судьбе. Его голос — ровный, тёплый, как шаги по деревянному полу. Ко-

гда он говорит, мир становится устойчивее.

Бабушка выбирает зелень, молочные продукты: творог, сметану, масло.

И, конечно, несколько килограммов свежих, хрустящих, в бугристую пупырышку моих любимых огурцов — вместе с деревянным ящиком-кадеткой, чтобы удобнее было везти домой.

Я слышу, как огурцы перекатываются внутри ящика — как маленькие зелёные сердца.

На обратном пути мы покупаем мороженое. Белое. Холодное. Приторное.

Я весь в сладком молоке. Оно течёт по губам, по подбородку, липкими струйками спускается по шее, под рубашку. Даже ключицы липкие.

Вкусно.

Радостно.

Я легчаю всем телом. Ощущаю кожей невесомость. Каждый член моего тела расслаблен. Дыхание ровное, спокойное. Мне хорошо.

У дома — песочница. Дедушка остаётся рядом, как тень дерева, дающая прохладу. Бабушка возвращается домой — перекручивать мясо на мясорубке.

Будем лепить манты.

Я остаюсь в песочнице с детьми. Смотрю на их тонкие икры, на лёгкие балетки и носочки с рюшами. Девочки. Слышу их голоса, не поднимая головы: спорят, доказывают, хватают друг друга за руки, ссорятся из-за грабелек.

Я приседаю на бордюр. Запускаю руки в песок. Тёплый.

Искристый. Сыпучий. Как же так? Ведь скала — а мягкая. Каждая песчинка когда-то была гигантской, недвижимой скалой. А теперь — мягкое, тёплое, рассыпчатое золото в ладонях.

Я подношу песок к уху. Слушаю его шорох, его шёпот:

«я-ш-шел-ко-вый... ч-чут-кий... с-снис-хо-ди-тель-ный...»

Я дрожу от радости. Ликую. Мотаю головой из стороны в сторону и мычу от восторга.

Дедушка улыбается.

Я это чувствую, даже не глядя — его улыбка тёплая, как солнце на затылке.

Мама уже поднялась. Она выглядывает в окно — отдохнувшая. Я слышу её тёплое:

«СЫНОК»

Бабушка выглядывает следом — мельком, будто добавляя к маминому:

«а ну-ка, внучок, пойдём-ка манты лепить!»

Манты. Лепить. Держать в руках мягкое тесто. Переглядывать его с ладони в ладонь — липкое, тёплое, влажное, будто окропляющее тебя поцелуями.

Я поднимаюсь с бордюра.

Прыгаю.

Мычу.

Размахиваю руками.

Летний ветер — лёгкий, послушный, милосердный — щекочет мне затылок, приподнимая пряди жёстких чёрных волос. Он будто подталкивает меня в спину, говорит: «*живи*».

Радостно.

Весело.

Солнечно.

Светло.

И всё это — не вокруг.

Всё это — во мне.

Мир дышит. И я дышу вместе с ним.

Мир улыбается. И я улыбаюсь всем телом.

Мир живой. И я — живой.

Я чувствую, как каждая песчинка, каждый луч солнца, каждый звук трамвая, каждый шаг бабушки, каждый вздох мамы, каждый поцелуй бабушки, — всё это складывается в одно огромное, тёплое, сияющее «да».

Да — жизни.

Да — миру.

Да — людям.

Да — себе.

Я поднимаю руки. Прыгаю. Мычу. Размахиваю руками, будто у меня есть крылья. И, может быть, они у меня и правда есть.

Как же я люблю этот мир.

Как же он любит меня.

И в этот миг я знаю:

Я — свет.

Я — радость.

Я — дыхание мира.

Я — Скандинавское Божество.

“Часовщик”

В маленьком морском порту жил мастер часовых дел.

Город, в котором находился тот порт, каждое утро просыпался с первыми гудками пароходов. Корабли — круизные, торговые, грузовые — выстраивались у пристани, как гирлянда. Буксиры тянули их к причалу, лебёдки скрипели, тросы натягивались, разрезая воду. С кормы летели лёгкие линемёты, береговые рабочие ловили их, вытягивали тяжёлые швартовы и накидывали на чугунные тумбы.

Море плескалось о причал, било по бортам, будто отгаливало корабли обратно в глубину. Солёные капли падали на раскаленный камень и мгновенно исчезали. Над водой кружили крикливые чайки, спорили с морем, падали белыми клочьями, растворялись в серебре волн. От пирса до самого горизонта море лежало, как огромный синий кит, дремлю-

щий под солнцем. Но стоило колесному пароходу взрезать воду лопастями, как кит встрепенулся, разметал могучими плавниками волны к берегу. Они собирались мелкой рябью, росли, набирали силу, мерцали под солнцем, разлитым по небу, будто расплавленное золото, и разбивались шумным пенным прибоем о песчаный берег.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.